

## О духовной сущности Германіи.

Чѣмъ дольше длится бушеваніе міровой военной грозы, чѣмъ сильнѣе ея испытанія для насъ, тѣмъ неотвязнѣе встаетъ вопросъ, возникшій съ самаго начала войны: кто же такой—нашъ противникъ? Какъ создалась въ самомъ сердцѣ Европы та чудовищная и загадочная стихія, которая соединяетъ высокую культуру соціального быта и личнаго духовнаго развитія съ первобытными, подлинно варварскими устремленіями и понятіями? Откуда взялся этотъ, предреченный Герценомъ, „Чингисханъ съ телеграфами“?

Вопросъ этотъ имѣетъ не только психологическое или историческое значеніе. Въ настоящую минуту для насъ этотъ вопросъ имѣетъ грозное значеніе загадки сфинкса. Въ началѣ войны русское сознаніе могло позволить себѣ роскошь чисто-теоретическаго, общенсторического или общенравственнаго вопроса о смыслѣ нашей борьбы съ германскимъ міромъ. Подъ живымъ впечатлѣніемъ злой воли, явственно обнаруженной нашимъ противникомъ, какъ въ самомъ фактѣ заженія мірового пожара, такъ и въ способахъ веденія войны, русская мысль, по самой своей природѣ неспособная успокоиться на относительномъ, историческомъ оправданіи войны, какъ экономической и политической, въ концѣ-концовъ, зоологической борьбы за существованіе націй или культуръ, нашла безусловное ея оправданіе въ усмотрѣніи ея необходимости, какъ борьбы русской или общеевропейской совѣсти съ зломъ германизма. Такая „конструкція“, правда, легко возбуждаетъ къ себѣ скептическое отношеніе въ реалистически настроенныхъ умахъ; исторически и политически „искушенные“ умы склонны видѣть въ ней болѣе или менѣе необходимую „официальную версію“ смысла войны, а никакъ не трезвое пониманіе ея причины и цѣлей. И, къ сожалѣнію, это моральное оправданіе войны было скомпрометировано и опозлено уличными листками, использовавшими чистое нравственное негодованіе страны для совершенно безнравственной и хулиганской травли пѣмцевъ. Вопреки всему этому, мы считаемъ такое сверхнаціональное, общечеловѣчески-мораль-

ное объясненіе войны не только единственно правомѣрнымъ этически, но и чисто-теоретически вполне правильнымъ. Какъ бы ни были глубоки и трагически безысходны историческія, независящія отъ воли отдѣльныхъ людей, причины борьбы народовъ, то обстоятельство, что эта борьба изъ формы мирнаго экономическаго и политическаго соперничества перешла въ форму міровой катастрофы, совсѣмъ не было исторически необходимо, поскольку въ составъ „исторической необходимости“ мы не включимъ также мотивы и дѣйствія, за которые могутъ нести нравственную отвѣтственность и руководители политики, и цѣлныя поколѣнія науки. Дипломатическая исторія возникновенія войны это ясно показываетъ. Опасности мірового пожара сознавались всѣми такъ ясно, что война могла быть избѣгнута, могъ быть найденъ компромиссъ, всѣхъ удовлетворяющій, или, вѣрнѣе, могъ бы быть найденъ, если бы его желали всѣ участники столкновенія. И теперь уже можно съ полной достовѣрностью и безпристрастіемъ сказать, что не пожелала его Германія. Уже одно это обстоятельство дѣлаетъ войну морально оправданной борьбою съ злою волей. Столь же несомнѣнно, что бы ни говорили нѣмцы,—что безъ нравственнаго негодованія, возбужденнаго нарушеніемъ нейтралитета Бельгій, Англія не могла бы такъ легко вмѣшаться въ войну. И какъ бы сильны и естественны ни были національно-политическія соображенія, побудившія Италію присоединиться къ союзникамъ, намъ представляется несомнѣннымъ, что эти утилитарные мотивы были поддержаны непосредственнымъ, инстинктивнымъ сознаніемъ опасности такого могущественнаго хищника, какъ Германія. Вообще говоря, не слѣдуетъ, конечно, наивно, донкихотски, преувеличивать значеніе чисто моральныхъ побужденій въ политикѣ, въ особенности международной; но нельзя и преуменьшать его. Национальная политика совсѣмъ не должна быть самоотверженной или безкорыстной, чтобы быть подчиненной нравственнымъ мотивамъ. Негодованіе на разбойника, вторгшагося въ мой домъ или угрожающаго ему, не перестаетъ быть нравственнымъ чувствомъ отъ того, что я защищаю при этомъ свою семью и свое имущество. Въ этомъ смыслѣ мы въ правѣ сказать, не впадая въ наивность политическаго „идеализма“, что сознаніе необходимости защиты національной независимости и международнаго порядка отъ хищническаго національнаго эгоизма, не останавливающагося ни передъ какимъ насиліемъ и правонарушеніемъ, есть основное чисто-реальное и вмѣстѣ съ тѣмъ нравственное побужденіе, придающее особую остроту и исключительное упорство міровому столкновенію націй.

Но сколь бы необходимо и правильно ни было такое пониманіе причинъ и цѣлей войны, въ немъ есть одна опасная односторонность. Съ чисто-нравственной точки зрѣнія такое сознаніе правоты своего дѣла и избличеніе своего противника правомѣрно лишь постольку, поскольку

оно безусловно безпристрастно и не связано съ самопревознесениемъ и уничтожениемъ противника. Когда человекъ въ борьбѣ съ своимъ ближнимъ сознаетъ свою правоту и незаконіе своего врага, когда онъ говоритъ: „въ моей рукѣ—карающій мечъ правды, въ его рукѣ—оружіе насильника“, это сознание лишь тогда основательно и подлинно нравственно, когда оно сопровождается смиренной оговоркой: „это такъ, несмотря на всѣ грѣхи, лежащіе на мнѣ, и на всѣ достоинства, присущія моему врагу“. Поскольку нѣтъ этого чувства отвѣтственности, требующаго внимательной самокритики и внимательно-справедливаго отношенія къ врагу, сознание своей правоты легко ведетъ къ гордынѣ и злобѣ. Такъ и въ борьбѣ націй. Благородное и укрѣпляющее сознание правоты національнаго дѣла при отсутствіи смиренія, чувства отвѣтственности и безпристрастія такъ легко, къ сожалѣнію, вырождается въ разнузданное, легкомысленное національное самомиѣніе и въ низменныя чувства злобы. Нѣтъ нужды приводить печальныя примѣры этого вырожденія—они у всѣхъ передъ глазами.

Но еще гораздо опаснѣе другая, чисто-практическая односторонность этого пониманія. Сознание своей правоты и грѣховности противника есть вмѣстѣ съ тѣмъ сознание своей силы и безсилія противника. Нравственное сознание человечества не можетъ отказаться отъ вѣры, что побѣда суждена правому дѣлу, что правда есть сила, одолеваящая неправду. Поскольку эта вѣра есть не сантиментальная мечта, а подлинное убѣжденіе, она основана на признаніи, что зло есть въ личной и національной жизни начало разрушающее и ослабляющее, начало разложенія и упадка силъ, добро же — начало, которое одно лишь даетъ истинную силу и обезпечиваетъ успѣхъ. Въ началѣ войны это пониманіе было дѣльнымъ, навязывалось какъ бы само собой и не поддачивалось никакимъ сомнѣніемъ. Злая черта самомиѣнія, эгоизма, нравственной тупости проступали такъ явственно на лицѣ нѣмецкой націи, что можно было говорить о нравственномъ и духовномъ упадкѣ Германіи, а совѣстимъ ли такой упадокъ съ могуществомъ? И побѣда казалась намъ легкой и безспорной. Нѣтъ нужды напоминать, какъ измѣнилось съ того времени положеніе. За противникомъ мы должны признать огромную, почти невѣроятную мощь, и, съ другой стороны, намъ раскрылись глаза на наши собственныя слабости.

Поэтому вопросъ о смыслѣ и сущности нашей борьбы имѣетъ для насъ въ настоящее время не одно лишь значеніе нравственнаго оправданія войны. Онъ имѣетъ то насущное практическое значеніе, какое въ моментъ опасности имѣетъ вообще правильная оцѣнка положенія. При этомъ нужно, конечно, прежде всего понять причины силы противника; постигнуть существо германскаго духа значитъ для насъ уяснить источники не только его отрицательныхъ сторонъ, но и прежде всего его

неожиданной для насъ мощи. Но это требованіе практической ориентировки не уводитъ насъ отъ нравственной оцѣнки, а тѣсно связано съ послѣдней. Однако прежнюю точку зрѣнія приходится подвергнуть пересмотру. Ошибались ли мы въ томъ, что сила на сторонѣ правды, что безнравственность есть вмѣстѣ съ тѣмъ безсилъе? Или мы ошибались въ самой нравственной оцѣнкѣ противника?

Нѣкоторой популярностью, кажется, пользуется теперь первое предположеніе. Дѣло, на первый взглядъ, объясняется просто: Въ рукахъ злой силы оказалось огромное техническое могущество, олицетворенное въ 16-дюймовой мортирѣ, и съ помощью этой мортиры зло если не побѣждаетъ, то наноситъ тяжкіе удары добру. Это объясненіе, конечно, правильно указываетъ *ближайшую* причину нашихъ неудачъ въ лицѣ технической подготовленности нѣмцевъ. Но въ качествѣ подлиннаго объясненія оно совершенно призрачно. Поставимъ прежде всего вопросъ: почему же у насъ не оказалось 16-дюймовыхъ мортиръ и всего остального, что сюда относится? Потому ли, что одни нѣмцы, а не мы, умышленно мѣшали мировую войну? Но развѣ мысль о защитѣ не требовала такой же технической подготовки страны, какъ мысль о нападеніи? Или мы не знали агрессивныхъ замысловъ Германіи или степени ея подготовленности къ ихъ осуществленію? Но отчего же мы не знали того, что обязаны были знать? Спору здѣсь быть не можетъ: наша неподготовленность есть не случайный промахъ, а имѣетъ глубокіе психологическіе и моральные корни. Наша слабость есть плодъ моральныхъ грѣховъ всей нашей національно-политической жизни. Но въ такомъ случаѣ мы должны вмѣстѣ съ тѣмъ признать, что и нѣмецкая мощь есть выраженіе нѣкоторой *моральной силы* націи. Вѣдь ни 16-дюймовая мортира, ни вся иная, вещественная и личная техническая сила нѣмцевъ не свалились къ нимъ съ неба, а есть плодъ ихъ долгихъ и напряженныхъ усилій, за которыми стоитъ духовная сила ума и нравственной энергіи. Вопросъ: „какъ народъ мечтателей и мыслителей сталъ народомъ 16-дюймовыхъ мортиръ?“, при всей своей загадочности, имѣетъ одну, вполне ясную сторону, которую съ самодовольствомъ подчеркиваютъ сами нѣмцы и которую мы обязаны просто констатировать, какъ фактъ: вѣдь чудовищная техника нѣмецкаго милитаризма есть *сама* плодъ напряженной мечты и мысли цѣлаго народа. За столѣтіе, отдѣляющее нынѣшнюю Германію отъ эпохи „идеализма“, перемѣнился лишь, съ одной стороны, предметъ мечтаній и мыслей— вмѣсто царства духа и свободы, о которомъ мечтали Кантъ и Шиллеръ, конечной цѣлью стало теперь военное и хозяйственное могущество; и, съ другой стороны, вмѣстѣ съ этой перемѣной предмета стремленій измѣнился самый характеръ „мечтаній и мыслей“: нѣмцы стали *практичными*, развили въ себѣ энергію виѣшней, технической въ широкомъ смыслѣ слова дѣй-

ственности. Это, конечно, есть огромная, полная перемена всего личного духовно-нравственного облика немецкой культуры, но в этой новой форме действуют те же силы ума и духа, что и в „идеальном“ типе прошлого. И—что особенно важно и часто упускается из виду—военное могущество немцев не могло быть осуществлено без огромного напряжения *нравственной* воли нации. То, что прежде всего бросилось в глаза не только противникамъ Германии, но и всему миру с самого начала войны,—это изумительное хладнокровие немецкаго безстыдства и безнравственности. Это живое впечатлѣніе не ложно, и оно придаетъ нашей борьбѣ живое, будящее энергію сознание борьбы со зломъ. Стоитъ вспомнить нарушение нейтралитета Бельгии и въ особенности его циничное оправданіе въ словахъ о „нуждѣ, не вѣдающей закона“ и въ приравненіи правового обязательства къ „клочку бумаги“, немецкіе методы морского пиратства, разрушеніе Лувена и пр., чтобы почувствовать, что слова о немецкой безнравственности—не полемическая фраза. Вопли естественно, что сила этого впечатлѣнія мѣшаетъ разглядѣть другую сторону дѣла. Мы должны, однако, имѣть безпристрастіе правдиво признать ее. Мы должны признать,—какъ бы парадоксально это ни звучало,—что ураганъ ненависти, правонарушенія и челоуѣкоубійства, поднявшійся въ Германиі, осуществляетъ свою разрушительную силу *нравственной* энергіей творящихъ его личностей. Такое злое дѣло, напримѣръ, какъ потопленіе безъ предупрежденія коммерческихъ судовъ, требуетъ все же для своего осуществленія недюжинной нравственной воли—чувства долга, отваги, хладнокровія передъ лицомъ опасности, твердаго упорства въ достиженіи намѣченной цѣли—со стороны командъ подводныхъ лодокъ. И точно такъ же, вообще, развитіе вещественной техники, хотя бы въ лицѣ немецкой артиллеріи, безспорная храбрость немцевъ и ихъ презрѣніе къ смерти—стоитъ вспомнить хотя бы столько разъ описанныя немецкія атаки, въ которыхъ люди лѣзутъ впередъ по грудѣ труповъ своихъ товарищей—и, наконецъ, что, быть можетъ, важнѣе всего—организация всей страны какъ бы въ единый гарнизонъ крѣпости, не вѣдающей иной цѣли, кромѣ побѣды надъ противникомъ,—возможно ли все это иначе, какъ при жесточайшемъ, аскетическомъ подчиненіи личной воли всей страны безпощадному требованію „категорическаго императива“: „ты долженъ, слѣдовательно, ты можешь!“? Ясно, что за немецкой „техникой“, которая наноситъ намъ теперь жестокіе удары, стоитъ энергія нравственной воли. Немецкіе успѣхи суть „успѣхи категорическаго императива“ Канта—живые образцы того, на что способна нація въ самомъ отчаянномъ, опасномъ положеніи, когда она дѣйствительно *хочетъ* осуществлять то, что она считаетъ своимъ *долгомъ*.

И тутъ именно мы стоимъ передъ изумительнымъ парадоксомъ нѣ-

мецкой нравственной психологіи—передъ старымъ, давно уже подмѣченнымъ парадоксомъ утилитаризма, какъ нравственнаго мотива, который здѣсь обнаруживается лишь съ особой явственностью и въ грандіозномъ масштабѣ. Національный идеаль Германіи, та высшая цѣль, которой она служить, закрѣплена официально въ знаменитой исторической формулѣ Бетмана-Гольвега: *Not kennt kein Gebot*—нужда не вѣдаетъ закона. Интересы націи и ея могущества суть верховная, высшая инстанція, передъ которой долженъ склониться всякій „законъ“—нравственный и правовой. Это есть обоготвореніе эгоизма, провозглашеніе его (лишь въ отношеніи національнаго цѣлаго) высшимъ началомъ человѣческой жизни. И однако эта безнравственная цѣль не могла бы быть осуществляема, болѣе того—самая постановка ея, образующая гордый замыселъ нѣмецкаго милитаризма, была бы невозможна, если бы поведеніе осуществляющихъ ее людей не подчинялось нравственнымъ побужденіямъ совершенно иного порядка. Очевидно, лишь потому, что нѣмецкій гражданинъ, вѣря Бетману-Гольвегу, *продолжаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ впритѣ Канту* и, признавая для государства правило „*Not kennt kein Gebot*“, для себя самого исповѣдуетъ обратное правило: „*Gebot kennt keine Not*“,—лишь потому нѣмецкій милитаризмъ можетъ вообще быть такой страшной силой.

Если мы присмотримся съ этой общей точки зрѣнія къ фактамъ, въ которыхъ явственно выразилась „злая воля“ нѣмецкой націи, то мы подмѣтимъ черты, подтверждающія изложенную морально-психологическую характеристику. Основная черта того, что зовется „нѣмецкими звѣрствами“, есть ихъ обдуманность и методичность. Безсмысленные, объяснимые лишь изъ чисто-стихійныхъ инстинктовъ и аффектовъ эксцессы, конечно, встрѣчаются и въ нѣмецкой практикѣ войны, какъ во всякой войнѣ, но, думается, они встрѣчаются не чаще, если не рѣже, чѣмъ въ другихъ арміяхъ міра. Напротивъ, то, что характерно для нѣмецкой жестокости, есть ея планомѣрность. Дикія жестокости въ Калишѣ и Бельгій составляютъ лишь осуществленіе опредѣленнаго стратегическаго плана: ученые стратеги установили теорію, что для обезпеченія покорности населенія завоеванныхъ мѣстъ необходимо запугать его, и теорія эта осуществляется неуклонно и систематически, съ такой же точностью, съ какою артиллерійскій прицѣль подчиняется установленнымъ законамъ механики. Плѣнные могутъ быть разстрѣляны не только по суду, за какіе-либо проступки, но и просто въ случаѣ „военной необходимости“. Все подчинено верховнымъ требованіямъ цѣлесообразности, все дѣлается „по-нѣмецки“, *gründlich und systematisch*. Человѣкъ—все равно, свой ли или врагъ—есть только средство для осуществленія цѣли; съ нимъ поступаютъ такъ, какъ нужно для успѣха дѣла. И съ такой же методичностью, съ какой люди истребляются,

когда это нужно, они и создаются: нѣмецкая власть, озабоченная, въ интересахъ будущаго военнаго могущества, увеличеніемъ населенія Германіи, принимаетъ и въ этомъ отношеніи свои мѣры, похожія на мѣры предусмотрительнаго и энергичнаго коннозаводчика. <sup>1)</sup> Жизнь и смерть людей одинаково—только орудіе для осуществленія высшей цѣли—мощи государства. Чудовищная государственная машина, не вѣдающая добра и зла внѣ единой, предназначенной ей цѣли, спокойно и систематично переплавляетъ живой человѣческій матеріалъ въ цементъ и желѣзо государственнаго и военнаго могущества. Откровенное презрѣніе нѣмцевъ ко всякимъ абсолютнымъ требованіямъ права и нравственности есть стихійное равнодушіе машины ко всему, что лежитъ внѣ ея назначенія, и стихійное истребленіе ею всѣхъ преградъ на пути ея дѣйствія.

Но эта машина работаетъ сама не паромъ и электричествомъ, а коллективной нравственной волей людей, дѣйствующихъ не за страхъ, а за совѣсть. Движущая сила этой машины есть чувство долга, „категорическій императивъ“. Бываютъ случаи, когда налаженный государственный механизмъ въ обычныхъ условіяхъ болѣе или менѣе исправно работаетъ, хотя живая, духовная сила націи отъ него уже отошла и даже противодѣйствуетъ ему. Но при такихъ условіяхъ, какъ міровая война, уже заранѣе ясно, что это невозможно; а въ отношеніи современной Германіи всѣ факты свидѣтельствуютъ объ обратномъ. Единая воля, воля служенія именно государственному механизму, не только фактически управляетъ дѣйствіями людей, но и всецѣло овладѣла ихъ мыслями и нравственнымъ сознаніемъ. Ярче всего объ этомъ свидѣтельствуетъ позиція, занятая не только въ отношеніи этой войны вообще,—что было бы не удивительно,—но и въ отношеніи именно идеала всепоглощающаго военно-государственнаго утилитаризма нѣмецкой интеллигенціей и нѣмецкой соціалъ-демократіей. Но такіе и имъ подобные факты, обнаружившіеся уже въ теченіе войны, въ сущности, суть лишь бросающіеся въ глаза внѣшніе симптомы, а не внутренніе корни того національнаго умонастроенія, которое есть истинная причина нѣмецкаго военнаго могущества. Вся нѣмецкая духовная жизнь, по крайней мѣрѣ, со времени Бисмарка и франко-прусской войны, проходила основательную школу государственной дисциплины ума и воли и насквозь пропиталась соответствующимъ нравственнымъ міросозерцаніемъ.

Конечно, легко и соблазнительно для насъ объяснить эту дисциплину, какъ чисто-внѣшнюю, механическую *дрессуру* нѣмецкаго народа. Это пониманіе не только психологически естественно при нашей антипатіи къ

<sup>1)</sup> См. любопытнѣйшую корреспонденцію М. Лурье изъ Стокгольма (*Русск. Вѣд.*, 1915 г., № 184), основанную на данныхъ нѣмецкой печати.

нѣмцамъ; оно находитъ себѣ подтвержденіе во многихъ характерныхъ фактахъ. Внимательный наблюдатель давно уже могъ подмѣтить въ нѣмецкомъ сознаніи черты государственнаго *холопства*, рабьяго, духовно-несвободнаго отношенія нѣмцевъ къ государственной власти. Такія бытовья мелочи, какъ, напримѣръ, то, что нѣмецкій ученый болѣе гордится чиномъ Geheimrat'a, чѣмъ своей ученой репутаціей, или какъ сентиментально-восторженное, рабски-безкорыстное монархическое чувство, характерное для нѣмецкаго народа, или, наконецъ, какъ комически-побѣдоносная сила мундира лейтенанта не только надъ женскими и дѣтскими, но и надъ мужскими сердцами,—всѣ эти мелочи, вызывавшія въ насъ раньше только улыбку, теперь раскрываются въ своемъ истинномъ значеніи, какъ частныя проявленія глубочайшей стихіи государственнаго и военнаго идолопоклонства, вѣвшейся въ нѣмецкую кровь и душу. 1) Все это, конечно, такъ, и только этимъ идолопоклонствомъ, этой лакейской дрессированностью можно объяснить, что даже такіе, казалось бы, чуткіе къ нравственной сторонѣ жизни люди, какъ Гауптманъ, могли выступить защитниками нѣмецкихъ методовъ войны. И все-таки было бы ошибочно остановиться лишь на этой отрицательной, чисто „гетерономной“ и потому безнравственной сторонѣ нѣмецкаго національнаго сознанія. Рабы и лакеи, люди, подчиняющіеся только чужому авторитету, а не голосу своей совѣсти, не имѣютъ подлинныхъ чувствъ вѣрности и отвѣтственности, и въ минуту опасности если и не всегда покидаютъ своихъ господъ, то во всякомъ случаѣ не оказываются на высотѣ положенія и обнаруживаютъ признаки трусости и эгоизма. И неизбѣжной развращенности рабовъ соотвѣтствуетъ всегда и развращенность господъ. Именно съ этой стороны обнаруживается яснѣе всего односторонность и карикатурность такого пониманія нѣмецкаго національнаго единомыслія. Пусть нѣмецкая государственная и военная власть являетъ воочію черты грубости, безчеловѣчности, наглости; но мы не можемъ отрицать, что и она проникнута насквозь чувствомъ долга и отвѣтственности и вмѣстѣ съ народомъ сама неутожимо и са-

1) Эта національная черта государственнаго холопства имѣетъ очень давній историческій источникъ. Стоитъ вспомнить теорію государства, какъ „земнаго божества“, у Гегеля, или отношеніе олимпійца Гёте къ жалкимъ нѣмецкимъ коронованнымъ особамъ и принципамъ. Изъ жизни Гёте приведемъ лишь одинъ характерный анекдотъ. Престарѣлаго мудреца и поэта, находившагося на высшей вершинѣ авторитета и мировой славы, однажды невзначай посѣтилъ его коронованный другъ, старый герцогъ веймарскій, съ которымъ его связывала полувѣковая тѣсная дружба (въ интимномъ кругу они были на „ты“). Гёте сталъ торопливо переодеваться, чтобы достойно встрѣтить своего высокаго посѣтителя, и при этомъ бросилъ своему лакею слѣдующую фразу: „Запомни, подлецъ, какъ долженъ вести себя слуга, когда приходитъ господинъ“ („Merke dir, Schuft, wie der Diener sich benimmt, wenn der Herr kommt“). Олимпіецъ Гёте *сордился* званіемъ и добродѣтелями слуги!

моотверженно *служить* высшей для нѣмцевъ государственной цѣли, а не предаеть страну своимъ личнымъ интересамъ.

Суть въ томъ, что эта глубочайшая внутренняя преданность государству и власти есть все же скорѣе *идолопоклонство*, чѣмъ простое *холопство*, т.-е. имѣеть нѣкоторое абсолютное религіозно-нравственное ядро. Нѣмецкая общественно-нравственная психологія не совпадаетъ, конечно, съ идеаломъ чистой нравственной автономности, выставленнымъ Кантомъ, когда личность сама, своимъ свободнымъ признаніемъ, ставитъ передъ собой свой нравственный идеаль; но она не есть и чистая гетерономность, слѣпое, рабье подчиненіе чужому велѣнію. Ибо „велѣніе“, которому она подчиняется, не есть „чужое велѣніе“ какихъ-либо людей, сословіи, какой-либо ви́шней власти, а есть сверхличное велѣніе государства, воспринимаемое нравственнымъ сознаніемъ изнутри, какъ абсолютный, божественный авторитетъ. Мы не будемъ, конечно, преувеличивать степень чистоты и высоты нѣмецкаго нравственного сознанія; напротивъ, непосредственное впечатлѣніе отъ нѣмецкой жизни явственно говоритъ о томъ, что матеріалистическія устремленія и въ особенности ихъ успѣшность—хозяйственное благополучіе страны—наложили на нѣмецкое сознаніе печать мѣщанскаго самодовольства и мѣщанскаго эгоизма. И дѣйственная преданность государству есть все же не чистый религіозно-нравственный мотивъ, а именно *идолопоклонство*. А это означаетъ не только то, что нѣмцы вообще поклоняются ложному, а не истинному божеству, и не только то, что это поклоненіе въ значительной мѣрѣ подкрѣпляется эгоистическимъ чувствомъ утилитарно-хозяйственной цѣнности государственнаго могущества, но вмѣстѣ съ тѣмъ и то, что само поклоненіе это носитъ характеръ какого-то первобытнаго, варварскаго идолопоклонства, въ которомъ религіозное чувство ближе къ рабскому трепету передъ могучей и грозной силой, чѣмъ къ подлинному религіозному благоговѣнію, основанному на любви къ святынѣ. Если безспорно, что жертвоприношенія идолу государства совершаются нѣмцами „не за страхъ, а за совѣсть“, то сама „совѣсть“ эта есть здѣсь, какъ и при всякомъ человѣческомъ жертвоприношеніи идолу,—лишь болѣе глубоко, болѣе изнутри души переживаемый страхъ. Грубые эгоистическіе инстинкты личности сдерживаются столь же примитивнымъ инстинктивнымъ трепетомъ передъ коллективной стихійной силой, воплощенной въ идолъ государственнаго могущества. Это есть типичная религіозно-нравственная психологія варварскаго, первобытнаго племени. Но именно поэтому эта психологія не только варварски груба, но и варварски сильна и здорова. Съ тою же непосредственностью и энергіей, съ какою въ мирное время варвары отдаются обезпеченію своихъ личныхъ первобытныхъ потребностей, они въ военное время отдають себя на защиту племен-

ныхъ интересовъ. Тогда, не вѣдая пощады къ врагамъ, ставя силу и интересы племени выше права и нравственности, они не даютъ пощады и самимъ себѣ и поражаютъ враговъ своей сплоченностью, самоотверженностью и коллективной энергіей. Объективная безнравственность ихъ поведенія и міросозерцанія не есть личная развращенность, какъ это бываетъ въ болѣе утонченныхъ и просвѣщенныхъ культурахъ; напротивъ, она сочетается съ подлиннымъ нравственнымъ здоровьемъ. Въ государственномъ сознаніи нѣмецкаго народа живетъ, хотя и въ примитивной, идолопоклоннической формѣ, и со стихійной силой дѣйствуетъ та самая сверхлично-нравственная волевая энергія, которая выражена въ канто-шиллеровской формулѣ: „ты долженъ, слѣдовательно, ты можешь“. Такимъ образомъ, называя нѣмцевъ „варварами“, мы употребляемъ не бранное слово для обличенія ихъ грубости и жестокости, а точный терминъ, обозначающій опредѣленный духовный типъ, и не только въ его отрицательныхъ, но и въ его положительныхъ сторонахъ.

Возвращаясь къ исходному вопросу нашего размышленія, мы должны, такимъ образомъ, признать, что объясненіе нѣмецкаго могущества, какъ чисто-внѣшней силы, данной въ руки злого, безнравственнаго начала, не только поверхностно, но и прямо ложно. Нѣтъ, мы въ правѣ остаться при прежнемъ допущеніи: зло, какъ таковое, само по себѣ всегда бессильно, ибо оно есть начало разложенія, слабости, смерти. Даже шайка безсовѣстныхъ разбойниковъ сильна лишь дотолѣ, доколѣ въ душахъ разбойниковъ живы такія нравственныя чувства, какъ смѣлость, вѣрность товарищамъ, готовность къ жертвамъ и труду. Гдѣ этого нѣтъ, гдѣ царитъ одно лишь зло, тамъ распущенность, трусость, лѣнь и измѣна неизбежно ведутъ къ слабости и гибели. Зло, чтобы быть сильнымъ и побѣждать, всегда должно пользоваться средствами добра, заставляя ихъ служить себѣ и потому быть внутренне слитнымъ съ добромъ. Только такъ объяснима и сила современной Германіи. Психологически понятно, почему нѣмцы такъ гордятся собою и такъ презираютъ нравственныя порицанія всего міра. Не видя безнравственности своей цѣли, своего общаго міросозерцанія,—а они не могутъ ее видѣть, ибо ихъ ослѣпленіе въ томъ и состоитъ, что они идолопоклонники,—они ясно видятъ безспорную нравственную силу, обнаруживаемую въ самомъ процессѣ осуществленія этой цѣли, и приписываютъ лицемѣрью или пристрастію своихъ противниковъ то, что міръ не преклоняется передъ ними, а ужасается ихъ дѣлъ.

Но объясненіе своеобразнаго сочетанія добра и зла въ нѣмецкой психологіи, найденное нами въ понятіи „варварства“, звучитъ слишкомъ парадоксально, чтобы не вызвать возраженій. Не имѣютъ ли нѣмцы за собою многовѣковой духовной и соціальной культуры? Не достигли ли именно они высочайшихъ вершинъ философской мысли, и

притомъ не только въ сравнительно недавнее время Канта и Гегеля, но и въ болѣе далекія эпохи, наприм., въ лицѣ Лейбница и еще раньше, при самомъ зарожденіи новаго времени, въ лицѣ такихъ геніевъ, какъ Мастеръ Экартъ въ XIII и Николай Кузанскій въ XV вѣкѣ? Не они ли сроднились во всей своей жизни съ научнымъ знаніемъ болѣе, чѣмъ какой-либо иной народъ Европы? И не признали ли мы сами, что источникомъ нѣмецкаго могущества является духовная сила „мечтаній и мыслей“. Какъ совмѣстимо все это съ варварствомъ?

Прежде чѣмъ отвѣтить на эти недоумѣнія и тѣмъ дополнить дѣйствительную односторонность, присущую характеристикѣ нѣмцевъ, какъ „варваровъ“, отмѣтимъ, что *фактически* это сочетаніе высокой духовной культуры съ духовной первобытностью—налицо. Мы не хотимъ отождествлять нынѣшнее поколѣніе нѣмцевъ съ германской націей въ ея исконномъ общемъ существѣ и ниже отмѣтимъ своеобразные черты именно современной Германіи. Но между этимъ частнымъ историческимъ типомъ и общимъ національно-племеннымъ лицомъ германства есть все же глубокая связь. Франко-Прусская война имѣла гораздо болѣе идейный смыслъ для Германіи и сопровождалась поэтому болѣе чистыми идеалистическими чувствами въ ней, чѣмъ нынѣшняя война. Между тѣмъ, и въ ней высказались тѣ же черты грубости, жестокости и циничнаго государственно-военнаго утилитаризма, которыя лишь съ еще болѣе силой выявляются теперь (вспомнимъ хотя бы правдивые типы „пруссаковъ“ въ мопассановскихъ разсказахъ!). Тѣ же черты грубости, заносчивости и примитивнаго національнаго самомнѣнія отмѣчалъ еще Герценъ въ нѣмцахъ, и притомъ въ эпоху государственной слабости Германіи. И не звучитъ ли современностью характеристика нѣмцевъ, высказанная англичаниномъ еще въ концѣ XII вѣка, по поводу незаконнаго плѣненія Ричарда Львиного Сердца: „О, дикій народъ! О, грубая страна! Ты всегда производила людей великанскаго роста и силы, но слабыхъ душевной доблестью, ловкихъ тѣломъ, но тупыхъ на пониманіе справедливости!“<sup>1)</sup> Кто близко присматривался къ нѣмцамъ, тотъ знаетъ, что, несмотря на всю ихъ культуру, они во всемъ своемъ органическомъ, душевно-тѣлесномъ обликѣ сохраняютъ характерныя, извѣстныя изъ историческихъ преданій, черты древнихъ „германцевъ“. Есть какая-то несомнѣнная внутренняя связь между ихъ тѣлеснымъ сложеніемъ (особенно виднымъ на столь распространенномъ типѣ богатырскихъ женщинъ) и примитивностью ихъ жизненныхъ понятій. Вся утонченная и сложная умственная и духовная культура привита все же къ этому крѣпкому и грубому стволу основной физико-психической энтелехії германской націи. Противъ насъ стоитъ сила новаго

<sup>1)</sup> Эйкенъ. Исторія и система средневѣковаго міросозерпанія, стр. 195.

„Чингисхана“, вооруженнаго не только „телеграфами“, даже если подь „телеграфами“ разумѣть всю нѣмецкую военную и промышленную технику, но и наукой, народнымъ просвѣщеніемъ, лучшимъ въ Европѣ социальнымъ законодательствомъ, Чингисхана съ профессорами и высоко-образованными чиновниками, съ народомъ, прошедшимъ школу Канта и Фихте, Гельмгольца и Роберта Майера.

Кромѣ этого, все же чисто-внѣшняго, сочетанія духовной культуры съ варварскою грубостью и силой, мы можемъ усмотрѣть и болѣе глубокое, органическое ихъ сліяніе. Не падо забывать, что то, что мы разумѣемъ подь „варварствомъ“, не только не исчерпывается одними отрицательными сторонами, а заключаетъ въ себѣ, какъ уже было указано, и извѣстную положительную цѣнность, но и вообще обозначаетъ не *уровень*, а *типъ* развитія. Именно поэтому такой типъ можетъ сохраняться и при высокомъ уровнѣ культуры. И „примитивность“, которая соединяется съ представленіемъ „варварства“, есть также категория, выражающая *качество* духовнаго типа, а не *степень* его развитія. Съ этой точки зрѣнія становится возможнымъ внутреннее, органическое сродство даже самыхъ высокихъ достижений нѣмецкой культуры съ непосредственной сердцевиной описаннаго національнаго типа. И такое сродство, дѣйствительно, есть. Такъ, вопреки господствующему предрасудку, приписывающему нѣмецкому умонастроенію склонность къ созерцательности въ мысли и искусствѣ, для всего нѣмецкаго умонастроенія, даже въ наивысшихъ его проявленіяхъ, характерна тенденція къ *дѣйственности*. Нѣмцы не всегда были *практичными*, но они всегда были дѣйственны. Творцомъ ученія о субстанціи, какъ *дѣйствующей силой*, былъ нѣмецъ Лейбницъ. Самый національный нѣмецкій философъ Кантъ *отрицалъ* возможность нечувственного созерцанія и провозгласилъ примать *практическаго* разума надъ *теоретическимъ*; и не нужно забывать, что именно этотъ національный философъ, при всемъ своемъ интеллектуализмѣ, впервые подлинно преодолѣлъ раціонализмъ XVIII вѣка. Глубокое сродство, давно уже подмѣченное, соединяетъ міровоззрѣніе этого національнаго философа съ грубовато-прямолинейнымъ и чисто-дѣйственнымъ религіознымъ типомъ Лютера и первоначальнаго протестантизма. Вся философія Фихте есть грандіозная, порою необузданная метафизика героической воли, точно такъ же, какъ философія Гегеля, несмотря на ея чудовищный интеллектуализмъ, вся насыщена чувствомъ коллективнаго, исторически-правоваго духовнаго творчества, презрѣніемъ къ абстрактной, только теоретической, конкретно не воплощенной мысли. Прагматически-жизненный характеръ умонастроенія Гёте, устами Фауста провозгласившаго: „въ началѣ было дѣло!“, хотѣвшаго и умѣвшаго усваивать всю культуру, не какъ теоретическое образованіе, а какъ дѣйственное воспитаніе личности, такъ

же выражает эту національную черту, какъ героически-этической обликъ поэзіи Шиллера. Лишь мало типичный въ національномъ смыслѣ Шопенгауэръ создалъ сходную съ буддизмомъ философію „отрицанія воли“,—философію, которая все же опирается на метафизическую поэму о неукротимо-бурной, ненасытной волѣ. А два его величайшихъ учителя—Вагнеръ и Ницше—каждый по-своему преобразовали созерцательный аскетизмъ своего учителя въ прославленіе мятежной воли. Отъ Лютера черезъ Канта до Ницше въ разныхъ варіаціяхъ проходитъ одинъ мотивъ,—мотивъ *Zufrieda*. По сравненію съ этой основной темой музыки нѣмецкой души такъ называемая нѣмецкая „мечтательность“, которая у нѣмецкихъ геніевъ выразилась, дѣйствительно, въ исключительно высокихъ формахъ, а въ народной толпѣ живетъ, какъ склонность къ сантиментальности и патетичности, есть все же второстепенная, болѣе поверхностная черта—необходимый психическій противовѣсъ дѣйственной энергіи, имѣющей значеніе лишь отдыха и разряда силъ. Характерно, что эта склонность къ мечтательному и возвышенному вмѣстѣ съ тѣмъ сочетается у нѣмцевъ съ презрѣніемъ ко всякому неразсудительному, практически-безплодному порывамъ „пустого чувства“; если вся нынѣшняя война ведется подъ единодушный крикъ націи: „долой сантиментальную гуманность“ („мы разучились быть сантиментальными“, сказалъ недавно глашатай современныхъ нѣмцевъ, Бетманъ-Гольвегъ), то это лишь искаженное и вульгарно-карикатурное выраженіе того суроваго нравственнаго презрѣнія, съ которымъ относились къ бездѣйственной романтикѣ чувствъ и настроеній Кантъ и Гегель, Гёте и Ницше. Несмотря на всю свою склонность къ мечтательности, нѣмцы—и не одни лишь нынѣшніе нѣмцы—болѣе всего цѣнятъ все же дѣловитость, трезвость, практическую годность, тотъ комплексъ моральныхъ качествъ, который обозначенъ непереводаемымъ нѣмецкимъ терминомъ „Tüchtigkeit“.

Но, конечно, современная Германія, съ которой мы имѣемъ дѣло, необъяснима сполна изъ однихъ лишь общихъ, какъ бы сверхъ-историческихъ національныхъ свойствъ германства; и намъ пора уже конкретизировать нашу слишкомъ общую характеристику. Выяснить полностью существо и происхождение современной Германіи—задача слишкомъ обширная; мы можемъ здѣсь лишь намѣтить въ общихъ чертахъ, какая комбинація и форма развитія общенациональныхъ свойствъ лежитъ въ основѣ нынѣшней духовно-общественной культуры Германіи. Прежде всего слѣдуетъ указать на ту общеизвѣстную черту, что волевая дѣйственность сочеталась у нѣмцевъ всегда съ обдуманностью и планомѣрностью, т.-е. опиралась на теоретическую ориентировку, на добытыя трезвымъ постиженіемъ дѣйствительности знанія и умѣнія. Обычное представленіе о нѣмцѣ, какъ „чистомъ теоретикѣ“, какъ мы уже указывали, само по себѣ невѣрно: поклоненіе „чистой теоріи“, какъ самодовлѣющей цѣли,

характерное, напимѣрь, для древне-греческаго умозрѣнія, совѣмъ не типично для германскаго духа. Но въ этомъ представленіи есть доля истины: для нѣмцевъ характерно *практическое довѣріе къ знанію*, непосредственное признаніе его нужности и годности для жизни. Въ противоположность типично-русскому недовѣрію къ знанію, склонности предполагать, что въ практикѣ жизни все бываетъ не такъ, какъ мы могли бы предвидѣть и рассчитывать, и что поэтому полезнѣе руководиться чутьемъ, инстинктомъ или просто отдаться волѣ обстоятельствъ, чѣмъ опираться на свои знанія (какъ это, напимѣрь, характерно сказалось въ ученіи Толстого о сущности военнаго дѣла), нѣмецъ хочетъ и умѣетъ использовать свои знанія. Эта національная черта лежитъ въ основѣ не только нѣмецкой способности къ техническому развитію, но и нѣмецкой умѣлости въ дѣлѣ государственной и военной организаціи народа. Еще важнѣе, быть можетъ, значеніе этой рассудочности для нравственнаго умонастроенія нѣмцевъ. Ибо внѣ ея былъ бы невозможенъ тотъ *государственно-общественный утилитаризмъ*, какъ непосредственно-практическій мотивъ поведенія, который столь характеренъ для современной Германіи. Только нѣмцы были способны на идею превентивной войны: въ *предвидѣніи* неизбежности будущей войны взять на себя отвѣтственность самими начать мировую войну въ моментъ, который, по теоретическимъ *расчетамъ* политики и стратегіи, казался наиболѣе благопріятнымъ. Этотъ государственный утилитаризмъ, сказавшійся какъ въ самой инициативѣ войны, такъ и въ способахъ ея веденія, есть самое крайнее, опасное и уже несущее признаки вырожденія проявленіе общенациональной черты разумной дѣйственности. Въ своей безграничности и всемогуществѣ онъ характеренъ дѣйствительно лишь для *современной Германіи*. Должно было подрасти поколѣніе, уже не сотрудничавшее въ дѣлѣ національнаго объединенія, а выросшее лишь среди воспоминаній объ его удачѣ, въ атмосферѣ національной самоувѣренности и національнаго благополучія, чтобы воспиталось это сильное довѣріе къ всепоглощающему государственному утилитаризму.

Другая специфическая черта современной Германіи есть ея практическій матеріализмъ—также плодъ національнаго благополучія послѣ франко-прусской войны. Конечная цѣль современной Германіи есть хозяйственное обогащеніе; это ярко сказывается не только на общемъ характерѣ нѣмецкой политики, но и на личномъ обликѣ нѣмцевъ. Государственный утилитаризмъ на почвѣ практическаго матеріализма есть самое точное опредѣленіе современнаго нѣмецкаго умонастроенія. Безграничныя притязанія раціоналистическаго государственнаго утилитаризма и его матеріалистическая цѣль и основа придаютъ современной нѣмецкой культурѣ мрачныя черты преступной дерзновенности, безбожнаго строительства вавилонской башни. Какъ ни глубоко заложены эти черты въ общенациональныхъ особенностяхъ нѣмецкаго духа, онѣ все

же суть лишь вырождающіяся, уродливыя его проявленія. Черты упадка, не только нравственнаго, но и умственнаго, какъ слѣдствія практическаго матеріализма и гордыни зазнавагося національнаго утилитаризма, были явственны внимательному наблюдателю Германіи еще задолго до начала этой войны. Часто приходится слышать мнѣніе, что нынѣшніе нѣмцы—только послѣдовательные ученики Бисмарка. Это мнѣніе совершенно не улавливаетъ специфическаго отличія современныхъ нѣмцевъ отъ нѣмцевъ эпохи Бисмарка. Если они—ученики Бисмарка, то именно поэтому они отличаются отъ него такъ, какъ ученики, воспринявшіе извнѣ готовое ученіе, отличаются отъ учителя-творца. Во всемъ духовномъ типѣ Бисмарка, какъ это видно и изъ его политики, и изъ его личныхъ признаній, явственно выступаютъ еще черты старой Германіи, Германіи Канта и Гёте. Хотя онъ и былъ творцомъ государственнаго утилитаризма, но подлинная геніальность его реальной политики состояла именно въ сочетаніи умѣнія предвидѣть событія и управлять ими съ умѣніемъ смиряться передъ необходимымъ, съ истинно-религиознымъ сознаніемъ, что обдуманно дѣйствующая человѣческая воля только тогда успѣшна, когда она сознаетъ свою подчиненность высшимъ, сверхчеловѣческимъ силамъ исторіи. Этотъ реальный политикъ не только вообще умѣлъ проявлять дальновидную умѣренность, но, несмотря на свое презрѣніе къ „гуманности“ и „сантиментальности“, всегда считался не съ одиными матеріальными, но и съ духовными и нравственными силами человѣческаго общества, и никогда онъ не бросилъ бы вызовъ всему міру. Гордыня и ненасытность современной нѣмецкой политики, ея безумное презрѣніе къ европейскому правосознанію и ослѣпленная спекуляція на одни лишь низменные, матеріалистическіе мотивы, сказавшаяся въ неудачныхъ надеждахъ на покорность Бельгіи, на эгоистическое равнодушіе Англии, на внутренніе распри Россіи, есть лишь бездарно-карикатурное подражаніе глубокой реальной политикѣ Бисмарка. Что въ современной Германіи, несмотря на успѣхи техники и научнаго знанія, подлинное духовное творчество если не прекратилось, то ослабѣло, что истинно-оригинальные умы въ ней и рѣдки, и невліятельны, а вліяніе и популярность принадлежать способнымъ эпигонамъ, умамъ вульгарнымъ и отчасти просто людямъ, приспособляющимся къ грубому уровню толпы, и главное, что національное самомиѣніе уже стало дѣйствовать во всѣхъ областяхъ труда и знанія въ ущербъ традиціонной и прославленной нѣмецкой добросовѣстности и основательности,—это сужденіе есть не полемически-пристрастная оцѣнка, а результатъ объективнаго наблюденія, и отчасти сознается или, по крайней мѣрѣ, сознавалось до войны и болѣе чуткими людьми въ самой Германіи.

Эти признаки духовнаго упадка, какъ и обуславливающія ихъ нравственныя причины—матеріализмъ и дерзостное самомиѣніе всепогло-

щающаго и самодовлѣющаго государственнаго утилитаризма, давали право намъ, противникамъ Германіи, надѣяться, что побѣда будетъ на нашей сторонѣ. Можетъ ли безбожная сила чистаго національнаго эгоизма противостоять поднявшейся противъ нея силѣ общевропейскаго нравственнаго правосознанія? И можетъ ли вообще быть сильнымъ, несмотря на все свое внѣшнее могущество, народъ, отравленный матеріализмомъ, ослѣпленный самомигіемъ, вѣрующій только въ бронированный кулакъ? Что касается перваго вопроса, то мы и теперь имѣемъ право и основаніе вѣрить, что исторія великой войны дастъ на него отрицательный отвѣтъ. Мы не можемъ допустить, чтобы сила, поднявшаяся на защиту права, не оказалась въ концѣ-концовъ сильнѣе силы, защищающей идею голой силы. Но въ отвѣтъ на второй вопросъ—мы должны теперь въ этомъ признаться—мы ошибались. Какъ бы ни были явственны явленія духовнаго упадка современной Германіи, *послѣ возникновенія войны* они были если не преодолены, то компенсированы пробужденіемъ стараго, здороваго нравственно-волевого начала германской націи. И здѣсь мы возвращаемся опять къ уже сказанному. Намъ бросаются въ глаза такіе факты безнравственной воли нашего противника, какъ ихъ изобрѣтательность въ жестокихъ методахъ войны, ихъ презрѣніе къ международному правосознанію, отсутствіе нравственной критики въ ихъ интеллигенціи. Но всѣ эти факты суть признаки и источники не нѣмецкой силы, а нѣмецкой слабости. Сила нѣмцевъ въ конечномъ итогѣ заключена въ томъ, что идеаль Бетмана-Гольвега *осуществляется* ими все же съ помощью нравственнаго сознанія Канта; сила ихъ въ глубинѣ и интенсивности чувства отвѣтственности каждаго гражданина за судьбу родины, въ великой формулѣ: „ты долженъ, слѣдовательно, ты можешь“. Только это знамя, хотя и поднятое въ защиту неправаго дѣла и неправой вѣры, есть источникъ ихъ успѣховъ.

Въ началѣ этой войны одинъ славянофильствующій русскій философъ, извѣстный парадоксальностью и неумѣренностью своихъ утверждений, отчеканилъ формулу: „отъ Канта къ Крупну“: въ философіи Канта онъ усматривалъ духовный первоисточникъ того зла, воплощеніемъ котораго явились нынѣ орудія Крупна. Въ этомъ утверженіи есть малая доля тонкой, трудно уловимой истины: при болѣе глубокомъ разсмотрѣніи можно *даже* въ философіи Канта усмотрѣть нѣкоторые признаки той же духовной ограниченности, которая въ рѣзкихъ и грубыхъ формахъ бросается въ глаза въ умонастроеніи современнаго нѣмецкаго милитаризма. Но эта малая доля истины не только была искажена тѣмъ, что была раздута до значенія общей философско-исторической перспективы, но, что важнѣе всего, заслонила собой гораздо болѣе существенную и практически своевременную истину о національномъ значеніи философіи Канта. Можно сколько угодно критиковать философію Канта, и мы лично не принадлежимъ къ ея по-

клонникамъ; можно находить недостаточной не только его теоретическую, но и его нравственную философію. Но необходимо признать, что само установленіе понятія „категорическаго императива“, открытіе нравственности, какъ *свободно*, внутренней силой самой личности признаваемого и осуществляемого и вмѣстѣ съ тѣмъ *безусловнаго* велѣнія, есть одно изъ величайшихъ достижений человѣческаго духа, для котораго, какъ и для всѣхъ живыхъ и подлинно-оригинальныхъ философскихъ истинъ, нужно было не одно лишь усиліе ума, но и глубокой жизненный, духовный опытъ. И національное значеніе этой истины для Германіи заключается въ томъ, что именно въ ней былъ выявленъ самый здоровый и сильный корень нѣмецкаго національнаго характера. Ибо волевая человѣческая энергія, столь характерная для нѣмецкаго типа, была здѣсь выражена въ самой чистой и духовной ея формѣ. Изъ-за естественной ненависти къ современнымъ нѣмцамъ мы не должны забывать этого высшаго и общечеловѣческаго достиженія германскаго духа, не должны уже потому, что *безусловное и глубочайшее его усвоеніе есть для насъ единственный залогъ победы надъ нѣмцами*: ибо подлинная сила Германіи, повторяемъ, заключается въ конечномъ итогѣ въ томъ, что въ крови ея народа живетъ, какъ могучій дѣйственный инстинктъ, категорическій императивъ Канта. Мы боремся съ новымъ варварствомъ, которое, несмотря на все зло своего идолопоклонства, сильно своимъ нравственнымъ здоровьемъ.

И здѣсь мы стоимъ передъ величайшимъ, грознымъ историческимъ вопросомъ, отъ отвѣта на который зависитъ наша національная судьба на многія десятилѣтія, быть можетъ, вѣка. Мы исходимъ изъ признаннаго нами положенія, что нынѣшняя великая война есть война не однихъ лишь интересовъ, но и идей и принциповъ. Быть можетъ, мы въ правѣ, не впадая въ самообманъ, сказать, что это есть борьба истинно-христіанской культуры противъ новаго язычества. Готовы ли силы, поднявшіяся на защиту правды, къ этой борьбѣ? Это значить для насъ: достаточно ли онѣ нравственно чисты и крѣпки, чтобы имѣть на своей сторонѣ всегда побѣдоносную силу Добра? Всякая военная подготовка, всякая мобилизація, есть въ концѣ-концовъ мобилизація духовно-нравственная, внутренній духовный подъемъ, приведеніе въ дѣйствіе скрытыхъ, потенциальныхъ источниковъ нравственной энергіи. Мы оставляемъ въ сторонѣ вопросъ о нашихъ западныхъ союзникахъ. Но что можемъ мы, безъ самообольщенія, въ этомъ отношеніи сказать о насъ самихъ?

Всякій окончательный отвѣтъ на этотъ вопросъ въ настоящую минуту не только несвоевремененъ, но и былъ бы ложнымъ. Ибо нравственный характеръ націи не есть ничто готовое, разъ навсегда данное, природу чего можно было бы выразить въ какой-либо формулѣ: напро-

тивъ, подобно характеру личности, онъ зависитъ отъ *свободной воли* его носителя и можетъ стать всѣмъ, чѣмъ онъ твердо захочетъ стать. Но тѣмъ болѣе своевременна правильная постановка вопроса. Эта постановка была, впрочемъ, уже давно представлена Вл. Соловьевымъ. Если на борьбу съ западнымъ варварствомъ возстала не только истинная западная культура, но, въ лицѣ Россіи, и „востокъ“, то есть ли это „востокъ Христа“ или „востокъ Ксеркса“? То, что мы ведемъ борьбу съ новымъ язычествомъ, еще само по себѣ не дѣлаетъ насъ ратью Христа и не обезпечиваетъ побѣды, поскольку мы не проникнуты духомъ истиннаго христіанства: вѣдь погибла же при защитѣ христіанства „растлѣнная Византія“, когда въ ней „остылъ божественный алтарь“. Правда, Россія, давшая великихъ святыхъ, Россія Пушкина, Тютчева, Достоевскаго и Толстого, Россія, и нынѣ дающая многія тысячи безвѣстныхъ подвижниковъ, въ правѣ вѣрить о себѣ, что она соучаствуетъ востоку Христа, и безъ этой вѣры невозможно національное самосознаніе. Но мы слишкомъ хорошо знаемъ въ себѣ и „востокъ Ксеркса“—Россію темныхъ силъ произвола и злобы, распущенности и лѣни, нравственной безотвѣтственности господъ и нравственной безотвѣтственности рабовъ. Мы знаемъ, что соціально-политическія немощи Россіи—лишь проявленія ея религіозно-нравственныхъ грѣховъ, и что въ конечномъ итогѣ отвѣтственность за эти грѣхи лежитъ на всемъ народѣ, на самой душѣ Россіи. Отъ того, побѣдитъ ли Россія въ себѣ самой „востокъ Ксеркса“ „востокомъ Христа“, зависитъ теперь и ея побѣда надъ германскимъ язычествомъ, и слѣдовательно, и сама возможность для нея достойнаго національнаго существованія. Осуществится ли это, или Россіи долгими годами униженія и немощи суждено будетъ искупать свои грѣхи, какъ „востока Ксеркса“? Этотъ вопросъ теперь нельзя, недопустимо ставить въ такой теоретической формѣ, какъ вопросъ о необходимомъ фактѣ, имѣющемъ наступить независимо отъ нашей воли. Мы должны лишь сказать: это наше нравственное возрожденіе *должно* быть нами осуществлено, и потому *можетъ* быть осуществлено. Пока жива нація, жива и ея свободная воля. Вѣруя въ себя, мы должны вѣрить во всемогущество нашей свободной, сознающей себя нравственной воли. Нужно только твердо помнить, что всякое внѣшнее напряженіе дѣйственной воли предполагаетъ *внутреннее* ея напряженіе въ дѣлѣ самоочищенія и самоукрѣпленія, и что осуществленіе побѣдоносныхъ началъ добра и правды въ нашей жизни есть не дѣло какихъ-либо стихійныхъ, нравственно-безотвѣтственныхъ соціальныхъ или политическихъ силъ и зависитъ не отъ случайностей въ ходѣ политической игры партій, а лежитъ на личной отвѣтственности каждаго изъ насъ, какъ дѣло нашей личной совѣсти.

С. Франкъ.